

такового. Ибо философия оперирует понятиями, имеющими универсальное применение, — как сам Логос, высвободившийся из-под оков мифа. Общественное же сознание, в том числе, что особенно опасно, властных групп, принимающих стратегические решения, заново опустилась до уровня примитивных эмпирических представлений, за многообразием реальности не видящих принципиального понятийного единства.

О реальных причинах этого скольжения к анахроническому эмпирическо-мифологическому видению будет подробно сказано ниже, во Введении. А теперь уместно упомянуть о распространенном ныне типе российского «западника». К сожалению, не только на уровне вульгарной журналистики, но и на уровне практической «реформаторской» политики проявляется тот факт, что российские западники, а не только основная масса населения, оказавшаяся за «железным занавесом», являлись отключенными и от подлинной философии, и от подлинного европейского Просвещения. Сегодня они возомнили себя некой «внутренней атлантикой», заброшенной в отсталую среду евразийской архаики и неискоренимого туземного традиционализма. Незаметно для себя они утратили универсалистскую перспективу видения, которой учит философия, и стали оперировать сомнительными дихотомиями, такими как центр — периферия, достойные и недостойные, пригодные и непригодные для прогресса, «человеческий материал» и т.п.

Таких «западников» А.С.Пушкин назвал представителями полупросвещения: «Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему...»¹. Наш классик — создатель современного русского языка и культуры — был представителем подлинного Просвещения и учил мыслить универсалистски, без применения к Европе, России и остальному человечеству каких бы то ни было двойных стандартов. Его основной презумпцией — а это и есть основная философская презумпция европейского Просвещения — было убеждение, что никаких роковых ментальных и расовых преград для приобщения всех народов без исключения к вершинам современного прогресса и знания не существует: человечество имеет единую судьбу, единую историческую перспективу. Это пушкинское кредо выражается в знаменитом «Памятнике»:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Разумеется, Пушкин говорит здесь не о себе лично — он заявляет о себе как о представителе просвещенческого универсализма, верящего в общедоступность прогресса для всех народов без исключения, в стандарты единого человеческого достоинства, Пушкинское кредо есть кредо подлинного реформаторства, а не того, что замешано на тайных комплексах неполноценности, с одной стороны, и скрытого расизма и «внутреннего колониализма», с другой. Этот пушкинский завет служил автору основным методологическим компасом при подготовке данного труда. Он хотел бы и читателя предлагаемого учебника приобщить к универсалистской методологии, которой всегда руководствовалась подлинная философия.

Методологическая преамбула:
«Пушкинская парадигма» как кредо
предлагаемого исследования

Философию можно определить как квинтэссенцию человеческого опыта, записанную на специфическом языке понятий. Не во всяком обществе наличествует интеллектуальная элита, способная это осуществить. Из этого вытекают два небезопасных последствия. Во-первых, мешающая целостному синтетическому схватыванию мозаичная раздробленность общественного опыта, который, вместо того чтобы быть представленным в едином внятном ключе, рассыпается в деталях, становящихся достоянием разрозненных групп, но не социума в целом. Во-вторых, неумение синтезировать свои опыт самостоятельно имманентным образом приводит к тому, что данный опыт узурпируют не всегда бескорыстные внешние интерпретаторы, навязывающие свое видение.

В нашу кризисную эпоху всюду ощущается драматический переход от универсалистской парадигмы просвещенческого (еще прежде того, христианского) типа к новому сегрегационному делению человечества на избранных и неизбранных. После победы Запада в «холодной войне» начался процесс нового колониального передела мира, связанный с борьбой за дефицитные ресурсы планеты. Приз, который хотят получить победители, — это ресурсы утратившей защиту мировой периферии, куда теперь относят и бывший «второй мир». Идеальным оправданием этой неоколониальной узурпации служит новый тезис о незадачливом туземном большинстве, неспособном

толково распорядиться собственными ресурсами и самостоятельно управлять собственными территориями вообще. Так идеология нового расизма обслуживает новый колониализм, получивший название «реколонизация». Отсюда понятно, что в новых мировых центрах власти созрел заказ на пропагандистские теории, призванные принизить государства и народы, сидящие на богатстве, которого они якобы недостойны, и даже демонизировать их в качестве источника опасной анархии, терроризма и экстремизма. Сегодня это относится и к России, на неофициальном уровне западного бытового общественного мнения уже фактически включенной в «ось мирового зла».

Формированию этого опасного мифа, служащего, как показал новейший опыт, прелюдией к прямой узурпации и агрессии, к сожалению, приложила свою руку и влиятельная часть интеллектуальной и политической элиты и в самой России. Наши «западники» явно перестарались в своих напаках на культурную традицию и менталитет собственной страны как решительную помеху успешной модернизации. В свою очередь, наши патриоты-почвенники не смогли ответить на это ничем другим, кроме откровенной ксенофобии, призывов к изоляционизму и поискам «особого пути» России, для которой общие универсалии и императивы развития якобы не указ. Словом, на поверку оказалось, что в обоих станах — и западников, и национал-патриотов — не нашлось умов, действительно готовых осмыслить проблемы России как страны, столкнувшейся с теми вызовами, которые действуют в «общечеловеческом» масштабе (в том числе и на самом Западе), но страдающей от них значительно больше.

Драма технической цивилизации, разрушающей природу и самого человека, драма разнузданного, ставшего прямо-таки асоциальным индивидуализма, наконец, трагедия репрессивного подавления личности — это общечеловеческие драмы, и совсем недавно не утратившая способность к самокритике часть западной интеллектуальной элиты не стеснялась говорить об этом применительно к собственному обществу. «Экологи» критиковали современную техническую цивилизацию, противники «репрессивного общества» от Г.Маркузе до М.Фуко — репрессивно-бюрократический разум, вооружившийся для практик подавления всеми возможностями техники модерна, сторонники ответственного социального государства — социально безответственный «рыночный» индивидуализм буржуазного типа. Теперь господствующая установка на Западе, самомнение которого непомерно возросло после победы в «холодной войне», состоит в том, чтобы либо не замечать этих проблем, либо приписывать их пережиткам традиционализма и фундаментализма.

Между тем они по-прежнему являются, в первую очередь, проблемами первого, нерефлексивного модерна², самонадеянно вознамерившегося покорить природу и историю и создать «прекрасный новый мир». Современные драмы и срывы постперестроечной России как раз и связаны, прежде всего, с тем, что к власти после 1991 года пришли люди, олицетворяющие формацию первого, запальчиво-самоуверенного и нигилистического модерна. Они снова, как и большевики, предлагают переписать историю с нуля, с чистой страницы и собрать страну по новейшим чертежам, на этот раз заимствованным уже не у Маркса, а у «чикагской школы» и других либеральной теорий. На Западе ультралибералы, даже сменив социал-демократов у власти, так или иначе вынуждены считаться с прежней системой сдержек и противовесов, выстроенной организаторами социального государства перед лицом социал-дарвинистских законов рынка и социально безответственного индивидуализма искателей наживы любой ценой. У нас же в результате осуществленной радикал-либералами «рыночной» революции соответствующая система противовесов была в мгновение ока и практически до основания уничтожена. Результатом стала массовая деградация человеческого капитала страны, фактически лишённого всяких инвестиционных программ в области социальной защиты, образования, здравоохранения и т.п. Вместо того чтобы срочно скорректировать разрушительно односторонний курс рыночных реформ, «младореформаторы» заявили о своей решимости любой ценой довести их до конца, а всякое противодействие приписали давлению «агрессивного традиционализма».

По-видимому, всерьез назрела потребность нового взгляда на вещи. Необходимо посмотреть на проблемы России с того самого общеевропейского и общемирового уровня, который настойчиво декларируется нашей реформаторской элитой, но на который на самом деле она не в состоянии встать. Взглянуть на проблемы России с общеевропейской точки зрения — это вовсе не значит объявить нынешний Запад непогрешимым образцом, где все «большие проблемы» уже решены, а Россию — изгоем общемирового развития, обреченным вечно действовать невпопад. Смотреть по-европейски — это значит увидеть в России те же проблемы, что волнуют (или должны волновать) и Запад, но проявившиеся с особой остротой и силой по причине социально-политической и социокультурной незащищенности страны, дважды на протяжении XX века лишаемой стабилизирующих подпорок накопленного прошлого опыта.

В этих условиях самый раз вспомнить о тех, кто изначально смотрел на проблемы России именно с общеевропейской точки зрения, с платформы универсализма, а не с позиции либо добровольного, доходящего до подобострастия самоуничтожения, либо, напротив, ложно-патриотического самодовольства. Настоящим родоначальником такого истинно общеевропейского подхода явился основатель нашей современной национальной культуры и создатель современного русского литературного языка А.С.Пушкин. Пушкин, без преувеличения, может быть назван основателем новой российской нации петербургского («постмосковского») типа. Вся новая империя, созданная Петром Первым, поначалу была, по большому культурному счету, ходульной военно-бюрократической конструкцией, созданной по «немецким» чертежам. Доказательством этому служат последовавшие за смертью основателя дворцовые перевороты, бироновщина, полный отрыв правящей камарильи от собственного народа. Только Пушкин вдохнул жизнь в эту умозрительную конструкцию, натурализовал ее на национальной почве, дал ей язык, разделяемый всей нацией.

Почему же Пушкину удался этот творческий синтез российского и общеевропейского, синтез, необходимый для превращения новой империи как продукта бюрократического рассудка в живой национальный организм? Для объяснения этой загадки предстоит сделать небольшое отступление, посвященное тайнам создания главного романа русской литературы — «Евгений Онегин». Эту тайну раскрыла Анна Ахматова в скрупулезнейшем исследовании «Адольф» Бенжамена Констанана в творчестве Пушкина». Каждому читателю «Евгения Онегина» с первых строк становится ясным, что это произведение не мог создать ни подобострастный западник, ни агрессивный почвенник, оно принадлежит человеку общеевропейского кругозора и культуры. Но эти общие соображения еще не дают нам искомой методологии, которую я называю пушкинской парадигмой. Она состоит в том, чтобы изначально мыслить и описывать события в Европе и в России в рамках общеевропейского процесса. Такой подход существенно отличается от модного теперь понятия диалога культур. Последнее хотя и предполагает известную разомкнутость, открытость для встречи с другим, противостоящую установкам культурного изоляционизма, но все же ставит русскую культуру в ее «диалоге с западноевропейской» в какой-то экзотический восточный ряд. Совсем не то у Пушкина: он смело прилагает к России и совершающимся в ней процессам общеевропейскую мерку, называемую им просто современной.

В этом ключе и написан «Евгений Онегин». Разъяснение Ахматовой, касающееся истории создания романа на основе «заимствования» образа центрального героя у Б.Констана, показывает, что речь идет не о переносе на русскую почву «европейского образца» (положительного или отрицательного), а об описании лишнего человека как «героя нашего времени», как олицетворения противоречивой современности. «Лишний человек» стал общеевропейской (а значит, и российской) проблемой и в перспективе, поскольку речь идет о тенденциях современности как таковой, проблемой общечеловеческой, планетарной. «В заметке о предстоящем выходе перевода «Адольфа» Пушкин, характеризуя героя Б.Констана, приводит XXV строфу (тогда еще не напечатанной) 7-й главы своего «Онегина» и относит «Адольфа» к

двум-трем романам,
В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанию преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящем в действии пустом.

Но Пушкин не ограничился воссозданием «русского Адольфа» — в таком случае он не преодолел бы статус эпигона. Напротив, он берет-ся за решение общеевропейской литературной задачи: снять налет ложного байронизма с данного образа, то есть лишить его «романтического алиби». Ни в Западной Европе, ни в России эта проблема еще не была решена: байроническое обаяние лишнего человека смущало даже сильные умы; как известно, оно осталось до конца не решенной даже в творческой биографии гениального Лермонтова. «Создавая современного героя, «сына века своего» — светского человека, столь же тщеславного и эгоистического, как Адольф, Пушкин заимствовал готовый характер, по-своему объяснив, снизив и разоблачив его согласно с характеристикой героя Б.Констана, данной в 7-й главе «Евгения Онегина»... Разоблачая и сатирически интерпретируя Адольфа, Пушкин тем самым преодолевал байронизм в своих прозаических опытах так же, как в «Евгении Онегине»³.

Следующей существенной характеристикой пушкинской парадигмы является творческая воля к синтезу, та самая воля, которая так необходима для преодоления модных крайностей и интеллектуального экстремизма. Пушкину как создателю современного русского литературного языка эта способность к синтезу требовалась в первую

очередь для выполнения его главной профессиональной задачи. Но на основе этой «синтетической способности суждения» он попутно решал многие другие задачи — общекультурные, идеологические, политические. Начнем с основной для него — языковой. Одним из ключевых свидетельств того, на каких принципах решал Пушкин эту задачу, является небольшая работа критическо-публицистического жанра «О народной драме и драме «Марфа Посадница». Гегелевская триада «тезис — антитезис — синтез» Пушкиным применяется, разумеется, независимо от Гегеля, которого наш классик едва ли читал. Эта триада была для того времени общим методологическим подспорьем в решении главной проблемы: цивилизованной стабилизации жизни после кровавых катаклизмов Французской революции, наполеоновских войн и всеобщего смятения умов, разрывающихся между крайностями ретроградной приверженности к невозвратному прошлому и экстремистскими провокациями современности.

К национальной задаче — созданию современного русского литературного языка — Пушкин подходил в духе своей парадигмы: решал ее в рамках общеевропейской модели. Исходным «тезисом», подлежащим снятию в ходе исторического развертывания диалектической триады, в данном случае выступала площадная народная комедия Средневековья и Ренессанса. «Древние (т.е. античные. — *А.П.*) трагики пренебрегали сею пружиною (смехом. — *А.П.*). Народная сатира овладела ею исключительно и приняла форму драматическую более как пародию. Таким образом родилась комедия, со временем столь усовершенствованная»⁴. Теперь, кстати говоря, нам понятно, у кого М.Бахтин заимствовал свою идею народной смеховой культуры Средневековья и Ренессанса — у самого Пушкина. Но у Бахтина в данном случае отсутствует движение диалектического синтеза. Создается впечатление, что он народную смеховую культуру раз и навсегда противопоставил официальной, определив тем самым свою позицию оппозиционера современности. Одним из первых в нашей литературе на это указал Батхин⁵.

Но вернемся к пушкинскому развертыванию диалектической триады как пружине общеевропейского литературного процесса. Здесь мы движемся в сторону официального антитезиса. «Драма оставила площадь и перенеслася в чертоги по требованию образованного, избранного общества. Поэты переселились ко двору. Между тем драма остается верною первоначальному своему назначению — действовать на толпу, на множество, занимать его любопытство, но тут драма оставила язык общепонятный и приняла наречие модное, избранное, утонченное. Отселе важная разница между трагедией народ-

ной, Шекспировой, и драмой придворной, Расиновой. Творец трагедии народной был образованнее своих зрителей, он это знал, давал им свои свободные произведения с уверенностью своей возвышенности и признанием публики, беспрекословно чувствуемым. При дворе, наоборот, поэт чувствовал себя ниже своей публики... Он не предавался вольно и смело своим вымыслам. Он старался угадывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему по состоянию. Он боялся унижить такое-то высокое звание, оскорбить таких-то спесивых своих зрителей, отсебеле робкая чопорность, смешная надутость, вошедшая в поговорку (*un heros, un roi de comedie*), привычка смотреть на людей высшего состояния с каким-то подобострастием и придавать им странный, нечеловеческий образ изыскания... Мы к этому привыкли, нам кажется, что так и должно быть. Но надобно признаться, что если герои выражаются в трагедиях Шекспира, как конюхи, то нам это не странно, ибо мы чувствуем, что и знатные должны выражать простые понятия, как простые люди»⁶.

Здесь, кстати, кроется объяснение странного, на первый взгляд, факта: бросающегося в глаза стилистического сходства между методом «социалистического реализма» и стеснительными канонами классицизма, заковавшими драму в тисках «трех единств» (места, времени и действия) и противопоставившими ее и окружающей реальной жизни, и народному самоощущению. Первым, кажется, в нашей современной литературе, указал на эту парадоксальную переключку двух официозов — классицизма и «соцреализма» (пропуск и далее цитата). При социализме, как и в эпоху классицизма, литераторы были насильственно представлены «ко двору». Они не столько свободно самовыражали себя перед народом, ждущим от них жизненной правды и просвещения, сколько перед лицом власти, вооруженной догматическими идеологическими канонами. Отсюда — та же ходульность пресловутой «идейности», отрыв от реальной жизни и даже простого человеческого здравого смысла, та же искусственность формы, что и у классицизма.

Постсоветский период во многих отношениях ознаменовался инверсией прежних оценок и понятий, но... все дело в том, что вместо партийной цензуры и подобострастия перед властью наша «реформационная» литература и публицистика преисполнились столь же верноподданническими чувствами перед Западом и его нынешним либеральным официозом. Отсюда — такие же ходульность и безжизненность, отрыв от жизненной правды и народного мироощущения, что и в период соцреалистического «классицизма».

Но вернемся к Пушкину. На примере общеевропейского литературного процесса он показывает, каким путем и с какими трудностями на Западе до сих пор еще (т.е. до его, пушкинского, времени) совершается переход к искомому синтезу — к созданию действительно общенационального языка, на котором с одинаковой полнотой самовыражали бы себя все слои общества, верхи и низы, а также осуществлялась бы преемственность между национальным историческим прошлым, хранимым народом, и современностью, которая не должна принимать форму нигилистического отрицания. Говоря о специфических трудностях перехода к стадии искомого языкового синтеза в России, Пушкин пишет: «Отчего же нет у нас народной трагедии? Не худо было бы решить, может ли она и быть. Мы видим, что народная трагедия родилась на площади, образовалась и потом уже была призвана в аристократическое общество. У нас было бы напротив. Мы захотели бы придворную, сумароковскую трагедию низвести на площадь — но какие препятствия? Трагедия наша, образованная по примеру трагедии Расиновой, может ли отвыкнуть от аристократических своих привычек? Как ей перейти от своего разговора, размеренного, важного и благопристойного, к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади? Как ей вдруг отстать от подобострастия, как обойтись без правил, к которым она привыкла, без насильственного приноравливания всего русского ко всему европейскому, где, у кого выучиться наречию, понятному народу?»⁷.

Эту труднейшую задачу, как известно, блестяще решил сам Пушкин, подарив российскому обществу трагедию «Борис Годунов». Разбор ее в данном случае не входит в нашу задачу. Нам теперь предстоит обратиться к той стороне пушкинской парадигмы, которая непосредственно касается философии языка, являясь пролегоменами к развитию будущей аналитической философии в России, тот искомый язык синтеза, который ищет Пушкин — язык универсальных потенций наш классик называет метафизическим языком. В работе «О причинах, замедливших ход нашей словесности» он пишет: «... Все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке; просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись — метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для

изъяснения понятий самых обыкновенных; и леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы уже давно готовы и всем известны»⁸.

Почти весь социалистический период, прошедший под знаком отрыва от общеевропейского процесса, под эгидой ходульной идеологии, привел к своеобразному возвращению к состоянию «младенчества» всю нашу интеллектуальную и политическую элиту, которая, по отмеченной Пушкиным творческой лености, «охотнее выражается на языке чужом», механически подгоняя сложнейшие российские реалии под готовый западный шаблон. Но, как справедливо полагает А.Ахматова, под метафизическим языком Пушкин понимает не только язык научных понятий, но вообще универсальный по своим потенциям общенациональный язык, на котором способен выражаться общенациональный опыт, охватывающий и специфические отрасли знания, и самое повседневность с ее простыми понятиями и запросами. Этот тезис о первичности быденного языка по отношению ко всем специальным языкам, как известно, был принят поздним Л.Витгенштейном и с тех пор, в основном, уже не оспаривался современной аналитической философией языка. А.Ахматова, естественно, без отсылок к изысканиям современной аналитической философии, интуитивно чувствовала это. «Говоря о метафизическом языке «Адольфа», Пушкин имеет в виду создание языка, раскрывающего душевную жизнь человека»⁹. Ахматовская интуиция ведет в том же направлении, в котором сознательно шел Витгенштейн: к утверждению открытости быденного языка более рафинированным видам интеллектуального опыта. «Конечно, возникает вопрос, чем же отличается психологизм «Адольфа», так сильно поражающий читателей, от психологизма романов, современных «Адольфу», как первоклассных (Сталь, Шатобриан), так и второстепенных (Коттен, Криденер, Жанлис). Дело в том, что Б.Констан первый показал в «Адольфе» раздвоенность человеческой психики, соотношение сознательного и подсознательного, роль подавляемых чувств и разоблачил истинные побуждения человеческих действий. Поэтому «Адольф» и получил впоследствии титул «отца психологического романа» или «le prototype du roman psychologique». Все эти черты «Адольфа», как известно, указали путь целому ряду романистов, в числе которых одним из первых был Стендаль. Уже в 1817 году Стендаль писал: «Данте понял бы, без сомнения, тонкие чувства, наполняющие необыкновенный роман Бенжамен Констан «Адольф», если бы в его время были бы такие же слабые и несчастные люди, как Адольф; но чтобы выразить эти чувства, он должен